

Сергей Прасолов

Поэт, прозаик, литературовед, публицист. Широко публиковался в периодике Донбасса и России. Член Союза писателей АНР. Член редколлегии альманаха «Крылья». Живёт в Луганске.

ДЕТСКАЯ УЛЫБКА БЫТИЯ

Учителю и другу Ларисе Черниенко

Валерий Брюсов, поклонник новаторства и ломки стереотипов, в стихотворении «Патмос» представил Христа как «одноразовое» чудо, постичь которое не дано человеку, живущему в пузыре своего ограниченного времени:

Единый раз свершилось чудо:
Порвалась связь в волнах времен.
Он был меж нами, и отсюда
Смотрел из мира в вечность он.

Эта версия стала не требующей доказательств аксиомой, достаточно дешевым стереотипом в среде тех «творческих» личностей, кто приходит в этот мир не для того, чтобы судьбой своей вдохновить на подвиг жизни всех, с кем выпало разделить земной век, не для того, чтобы делом своим приоткрыть моменты абсолютного, вечного, бесконечного в проходящем и ограниченном человеческом бытии, а для того, чтобы продемонстрировать свою избранность и указать на несовершенство и ничтожность «нетворческого» большинства. Слепо копошитесь в навозной куче своего никчемного бытия? Продолжайте. И восторгайтесь теми, кто, находясь меж вас, смотрит мимо вас в вечность.

Не знаю, надо ли доказывать, что подвиг Христа как раз в том, что он сполна разделил с нами человеческую судьбу и что именно в человеческом самопожертвовании всецело про-

явилась его божественная природа, открывшая нам парадоксальную истину жизни: только смертное сильнее смерти.

Поэтому его пришествие происходит всякий раз, когда земной и смертный человек совершает своей жизнью маленький подвиг: не требует для себя больше, чем есть у остальных, и бескорыстно отдает себя всем, на равных разделяя с ними то, что именуется судьбой. Только такой человек, если ему достает духа примыкать к тому, что бесконечно превосходит нас и не заблудиться в замысловатой игре корысти, на самом деле становится голосом вечности и проявляет свою божественную, хотя, собственно говоря, истинно человеческую природу. К этому типу людей принадлежала и Лариса Владимировна Черниенко. Она дала нашему миру значительно больше, чем занимала в нем места.

Ей не надо было проповедовать свою веру, крушить и созидать или шептать молитвы о ниспослании божественной милости, потому что само ее присутствие среди нас открывало полноценность жизни, когда зыбкое идеальное оказывается реальнее надежного реального. Ей не надо было демонстрировать внезапно открывающиеся истины, которые так любят ловить за хвост истовые фанатики новых веяний, потому что вся ее личность светилась настоящей человечностью. Она проявлялось во всем, что делала или говорила Лариса Владимировна. И даже если она в чем-то или в ком-то ошибалась, ее невозможно было упрекнуть. Такие, как она, кажется, и живут для того, чтобы другие могли различать истинное и ложное.

Они связуют воедино людей и времена не внешней, принудительной, но внутренней, действительной связью – тончайшей нитью человечности. Они вроде бы ничего не изменяют, но их существование чудесным образом заставляет выступать в истинном свете все то, что и образует суть бытия. Их внутренний свет выхватывает из тьмы небытия столько, сколько может, чтобы мы различали реальное и призрачное в почти неразличимой темноте. А само присутствие среди нас подсказывает – все будет правильно, на этом построен мир.

В ее походке была плавная величавость, свойственная только внутренне свободным людям, во взгляде – судьба казачки, знающей цену воле, но добровольно остающейся хранительницей очага. Ее паразитально мягкий, «округлый» характер

исключал какую бы то ни было чрезмерность или крайность. А самым выразительным в ее облике была улыбка – улыбка ребенка, в которой одновременно светились и радость бытия, и его печаль, и легкая ирония ко всему, что несоразмерно своей сути, и доверчивость к жизни, способной обманывать, но все же не являющейся тотальным обманом, – доверчивость самого мира, наделившего человека способностью понимать, чувствовать, выражать его. Эта улыбка покоряла и, казалось, говорила: «Все ваши взрослые хитрости, как ни изощряйтесь, не про меня, потому что я знаю: чудо жизни просветляет всех, кто ей доверяет. Откройте глаза и сами увидите!»

Всей своей жизнью Лариса Владимировна позволяла проявиться лучшему в людях. Но что же досталось ей самой? Думаю, близкий к истине ответ есть в стихотворении Алексея Плещеева «Легенда». Тот, кто раздает все розы из своего сада, свое чело вынужден увенчать шипами.

* * *

В мою память она впечаталась статной красавицей, которая у нас, первокурсников филфака Ворошиловградского пединститута, вела практические занятия по «Введению в литературоведение». Такие впечатления не рассеваются временем.

На лекциях нам скучно насыпал софистику из учебников Григория Абрамовича и Леонида Тимофеева Юрий Александрович Колесник. Он читал «Введение в литературоведение» и на выпускном курсе «Теорию литературы» только потому, что делать это больше было некому. Кафедра русской и зарубежной литературы в 70 – 80-е годы действительно была легендарной, но все историки литературы не испытывали пиетета перед ее теорией. Основная причина, конечно же, была в господствовавших под именем марксистско-ленинского литературоведения карикатурных схемах, подменявших собой теоретическое осмысление исторического развития литературы. Теоретики выражались строго научными понятиями, предварительно изгнав из своих интеллектуальных небоскребов теоретическое мышление. Поэтому наше погружение в «теорию» ограничивалось прагматичным школьным начетничеством: как и зачем тот или иной автор использует формы,

приемы, методы и прочую теоретическую механику, чтобы впечатлеть читателя «художественностью» текста.

Надо отдать должное Юрию Александровичу. Он добросовестно пытался рассуждать о том, что все в литературе необходимо анализировать как с одной, так и с другой стороны, и то, что с одной стороны есть содержание, то с другой стороны – форма. Увы, эта игра в умственность мало напоминала живую мысль и уж тем более не приближала к пониманию того, в чем же заключается непреходящая поэзия «искусства слова» и зачем она вообще необходима человеку в эпоху невиданного социального и научно-технического прогресса.

Мы, в свою очередь, старались впихнуть в себя эту софистику, штурмуя учебники. И как же были поражены, когда на практических занятиях литература неожиданно зазвучала поэзией жизни, когда сама собой начала вырисовываться грань между искусством и подделкой, формально соответствующей теоретическим «критериям» искусства.

Настоящим откровением для меня стал анализ стихотворения Пушкина «Я вас любил...». Лариса Владимировна заговорила не о поэтических приемах, использованных поэтом, а о жизненной коллизии истинного и ложного, которая придавала неповторимую силу и прелесть поэтической фабуле. Можно любить себя в человеке и смаковать свои страдания, когда любовь покинула свой приют в замороженных ею душах. А можно любить человека, и тогда – «Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим». Не проклинать другого и не жалеть себя, а пожелать возлюбленному только настоящей любви, какой любимые нами достойны. Пушкин в двух строчках раскрывает поэзию чувства, ведущую нас к истинной человечности, не оставляя себялюбия шансов прокрасться в наши души под видом любви. В историческом формировании человеческого в человеке эти противоположности сходились и расходились, примеров чему в мировой литературе не счесть. Но только у Пушкина «извечная» борьба любви и эгоизма обрела свое идеальное, классическое содержание, выразившееся в афористической форме, извлеченной поэтом из «материи», образованной всем развитием искусства слова.

В фигуре Ларисы Владимировны с нами заговорила Литература, а наши сердца и мысли открылись для восприятия

чего-то истинного в мире, круто замешанном на самообмане. Литература оказалась не инструментом в ловких ручках неких граждан, назначенных общественным мнением или государственной волей классиками, которые из кирпичей слова возводят свои художественные миры и творческие видения, а зеркалом бесконечного в конечном, в родном и близком нам, что и позволяет очищаться от всего узкого, убогого, ограниченного, только кажущегося могущественным, а то и всеильным.

Чем больше я в силу своих интересов пытался вникнуть в литературу, тем очевиднее становилось, что так называемое литературоведение связано не с инструментарием художников. Если оно претендует на научность, то его задача – понять, как историческая реальность обретает в литературном творчестве свое зеркало, свою всеобщую форму, то конкретное своеобразие, в котором мы имеем возможность разглядеть смысл нашего существования. Или хотя бы его очертания.

И путь к пониманию открыла Лариса Владимировна.

Она очень любила цитировать высказывания, принадлежащие людям известным и неизвестным. Цитировала, то радуясь мощи заключенной в них правды, то наслаждаясь изяществом мысли, с какой-то личной гордостью за «сказавших». Конечно же, искала эти высказывания не в сборниках афоризмов, где они указываются в меню или существуют в виде полуфабрикатов, которые можно быстро приготовить на печи актуальности. Живая мысль входила в круг ее общения с миром, независимо от того, был он его книжной или повседневной частью, принадлежала ли мысль гениям или детям. На одной научной конференции она процитировала свою подружку, кажется, пятилетнюю девочку-соседку, на одном из круглых столов цитировала студентку, назвав ее мысль счастливой находкой.

Истинное в жизни принадлежит всем – такова его суть. И извлекать его из может и способен каждый, кто готов нести на своих плечах всю тяжесть понимания. При этом Лариса Владимировна считала, что каждый из нас вправе иметь собственную правду. К ней она относилась все, в чем жизнь посверкивает своим смыслом, лукавым, суровым, потешным, горьким, приближающим человека к полноте жизни. В отличие от подступающей со всех сторон пустоты, многословной, пафосной, беспросветной.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в людях она особенно любила детство – духовное состояние в любом возрасте, когда естественны и чудеса, и поразительные открытия обыкновенного, и искреннее доверие к жизни.

Выписки Лариса Владимировна делала, как правило, на обычных тетрадных листиках. Крупным, свободным почерком. Иногда небольшая цитата занимала целую страничку. Наверное, потому, что настоящая мысль требует простора. Использовать для записей компьютер она так и не смогла. Может быть, считала, что он не дает ощущения простора и свободы.

* * *

Литературу преподают по-разному. Например, как устав караульной и гарнизонной службы или рекламное приложение к идейным экзерсисам преподавателя. Жизнь сталкивала меня и с оловянными буквоедами, и с разнообразными энтузиастами неудержимого новаторства. С одними можно было спорить, с другими это было бессмысленно – всепобеждающая эклектика делала их неуязвимыми. Однажды пришлось услышать такую формулировку: в преподавании литературы важен не предмет, а способ его подачи. Увы, эта версия пропитала практику недопустимо глубоко: что и как почти безвозвратно разбежались по разным, не пересекающимся между собой ведомствам.

На лекциях Ларисы Владимировны литература говорила с будущими учителями на своем языке, силой собственных образов и одновременно в свете ее личности. Насколько мне известно, она была убеждена, что в «искусстве слова» обретает свой наглядный образ процесс освобождения человека от собственной узости, процесс становления его человечности. Поэтому все исторические конфликты прежде всего образуют нравственные коллизии, идущие от человека и к нему в конечном счете возвращающиеся.

Помнится, как-то на кафедре мы поспорили с Симой Борисовной Табенцкой, нашим замечательным специалистом по методике преподавания литературы. Она эмоционально убеждала меня, что «школьные» авторы должны изучаться как творческие индивидуальности с их неповторимым ви-

дением мира. По ее логике, только так можно избежать казенности, безликости и привить детям любовь к творчеству. Я резко возразил, по молодости лет не желая считаться с горьким опытом советской истории, который подтолкнул ее к этой позиции.

Если следовать такой логике, то методики преподавания литературы как науки не может быть – на все личностные мировоззрения научных понятий не изобрести. А если даже и хватит фантазии, то в таком случае их вряд ли можно счесть научными. Эта романтическая легенда о творческих индивидуумах избавляет учителя от необходимости доказывать самим изучением произведений, что литература – не болезненная фантазия слабовольных людей, ограждающих себя и себе подобных иллюзиями от реальности, в которой идет беспощадная борьба тех, кто наделен волей к власти, а разворачивающаяся перед человеком картина его противоречивого, большей частью трагического очищения от собственной неразвитости. И, наконец, вся эта прокисшая романтика об избранности творцов уже давно превратилась в карикатуру на себя: толпы бездарей самовыражаются, нагло кривляясь перед ошалевшей публикой, и требуют признать свои ужимки и прыжки творчеством. Не скрывая иронии, я спросил Симу Борисовну: как она с ее душевной тонкостью и любовью к литературе может не понимать, что разделяемые ею взгляды направлена против нас – тех, кого держат и всегда хотят держать за публику, которой манипулируют «творцы»? А ведь наша способность посредством искусства видеть в истории моменты самоочищения от грубой первобытности даже в самых модных ее проявлениях открывает возможность жить по законам искусства перед всеми. Если в литературе есть смысл, то он в том, чтобы открывать нам глаза на складывающуюся в действительности фабулу событий в их соотношении с целым, развивать артистизм в очищении от узости корыстных интересов и ограниченности условий, в которых мы обречены существовать.

Сима Борисовна обиделась и тут же ушла на лекцию. Лариса Владимировна, присутствовавшая при «стычке», сначала хорошенько меня отчитала, а потом со свойственной ей раздумчивостью продолжила. Приговор звучал в ее духе. Вы, Сергей Николаевич, не можете себе позволить так разговари-

вать с тем, кто вас учил. Хотя, Сережа, я во многом с тобой согласна...

Уже вернулась с лекции и ушла домой Сима Борисовна, а мы продолжали разговор.

О том, что приобщение к литературе – это приобщение к настоящей свободе, зачастую недоступной в реальной жизни. И это не бегство от реальности, а мучительный поиск реальной полноты жизни, какой она должна быть.

О том, что литература становится в конечном счете спасательным кругом для народов, когда их история приводит к столкновению разных правд, и необходимо прозрение, чтобы увидеть более широкие основания жизни, гораздо менее очевидные, чем те, что своей железной логикой убеждают: смирись перед неодолимым сегодня...

Позднее мы не раз возвращались к этому разговору – в каких-то репликах, намеках, обсуждениях других тем (о паре из них – ниже). Но именно тогда я понял, что Лариса Владимировна – друг, с которым можно расходиться в убеждениях, но которого все равно хочется слушать и слышать, потому что в общении всегда есть радостное, объединяющее чувство понимания. Тогда же, мне кажется, приоткрылось то, что и было светом ее личности в преподавании литературы.

Она переживала нравственные коллизии в литературе как личные, не разделяя в этом моменте искусство и жизнь. И, на мой взгляд, нравственный выбор для нее был не просто выбором между добром и злом, а мучительный, трагический, гамлетовский поиск истины, когда принятое решение не только не дает тебе никаких преимуществ, но требует пройти свой крестный путь до конца без надежды на утешительную развязку. Литература утверждает за человеком право принимать решения, которые оказываются окончательными для него самого, но не являются конечными по своему содержанию, и раскрываются в своей конкретной полноте лишь тогда, когда человечеству удастся пережить моменты подлинного самоочищения. В развертывании этих проблем, не имеющих окончательного решения и вместе с тем указывающих со всей определенностью путь к истинному Лариса Владимировна оказывалась незаменимой и неповторимой.

Литературе советской эпохи казалось, что она нашла ответы на многие из таких проблем, но оказывалось – она их лишь

обозначила, верно или неверно, и мы можем вникнуть в них, избегая готовых ответов, подсовываемых «новой» эпохой.

* * *

Как я уже говорил, упомянутый мной разговор, возникший по случайному стечению обстоятельств, «разрастался». Иногда в том, где продолжение не предполагалось.

Поколения, которые сегодня вошли в силу и перестраивают историю на свой вкус и по своим меркам, уже, наверное, и не слышало о «шестидесятниках», – общественном явлении с литературным оттенком, возникшем в период исторической «оттепели», связанной с правлением Никиты Сергеевича Хрущёва. «Шестидесятники» придерживались либерального убеждения, что их личная свобода от казарменного «социализма», бездушного чиновничьего формализма и прочих эксцессов подавляющей личностью государственности и есть условие свободы всех. Нормой в литературе они пытались сделать нарушение всех формальных канонов и самовыражение.

Ларису Владимировну «шестидесятничество», конечно же, не могло не зацепить.

Под давлением «художественной» реальности она, например, всерьез говорила о сосуществовании в формате социалистического реализма различных методов и стилей – романтизма, сентиментализма и пр. Она цитировала Евгения Евтушенко, сопровождая комментариями «Я многого не принимаю в Евтушенко, но вот может же сказать человек», иронизировала над Андреем Вознесенским, признавая при этом его архитектурское право на конструирование индивидуальных миров. А когда мутным потоком хлынула «возвращенная» литература, честно стремилась вписать «забытые имена» и их произведения в литературный процесс XX века.

Иногда мы пикировались. Да, говорила Лариса Владимировна, я понимаю, что «шестидесятники» сродни пушкинскому Алеко – «Ты для себя лишь хочешь воли», но это все же разрыв замкнутого круга, это же не Всеволод Кочетов, не серо, не убого, раскованно и порой на самом деле оригинально. Я возражал: ваш любимый Шолохов не имеет никаких дарований этих оригиналов, но он и есть русская литература XX века. Она парировала тем, что моего любимого Андрея

Платонова некоторые исследователи относят к модернистам и у него многое позаимствовали «шестидесятники». Я отвечал, что истиной в искусстве Платонов считал реализм, а созданные им образы, как и у Шолохова, – идеальные формы самой действительности советской эпохи, которая достигла своей трагически-карикатурной формы. Для литературной игры у него позаимствовали «форму», предварительно оторвав ее от содержания...

И все же, мне кажется, Лариса Владимировна понимала: с мичуринской селекцией методом гибридизации вырастить из студентов учителей, способных понять и объяснить противоречия литературного развития нашей эпохи, не получится. И только поэтому, думается, сумела сохранить целостность взгляда, удержать баланс, который подавляющему большинству представителей современного литературоведения, удержать не удалось. Её «на том стою и не могу иначе» особенно ясно проявилось во второй половине восьмидесятых годов, когда самая читающая в мире страна со своей непревзойденной классикой, с пушкинской всемирной отзывчивостью захлебнулась принялась поглощать самое дешевое чтиво, а классические критерии истинного и ложного были попросту выброшены за ненадобностью. У нее, похоже, возникли стилистические разногласия с зигзагами истории, выпавшими на нашу долю.

И, насколько мне известно, в последние годы она неоднократно говорила: чтобы литература вернулась в себя, она должна вернуться к народу. Даже несмотря на то, что он слишком долго безмолвствует...

Здесь, пожалуй, следует поставить точку, хотя о многом еще хотелось бы рассказать.

Напоследок. Лариса Владимировна любила в человеке все человеческое, живое, характерное, искреннее. Порой даже больше, чем тот или иной представитель миллионов двуногих тварей заслуживал. И никогда даже не пыталась любить себя в ком-то. Это исключалось по определению. Возможно, поэтому от ее фигуры и исходил, казалось, нездешний свет, который все же здешнее самого здешнего.